



В. Бузинов
Н. Крышук
А. Самойлов

Расставание с мифами

Разговоры со знаменитыми
современниками

**Николай Крыщук
Алексей Самойлов
Виктор Михайлович Бузинов
Расставание с мифами.
Разговоры со знаменитыми
современниками**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9811766

Расставание с мифами: Разговоры со знаменитыми современниками:

Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2010

ISBN 978-5-93682-628-3

Аннотация

Книга «Расставание с мифами. Разговоры со знаменитыми современниками» представляет собой сборник бесед Виктора Бузина, Николая Крыщука и Алексея Самойлова с известными и популярными людьми из разных сфер – литературы, искусства, политики, спорта – опубликованных за последние 10 лет в петербургской газете «Дело».

Содержание

Не уклоняться от судьбы	6
Владимир Аллой	10
По звонку времени	12
Дом рассеянных	14
Водолазы, поднимающие правду	16
Человек пути	19
Делатель	21
Современный Дягилев	26
Дым отечества	31
Долго будет родина больна	35
Андрей Арьев	38
Возвращение в Царское Село	40
Четыре жирные кляксы	42
Компьютер для первобытного человека	45
Перестройка	47
Нигилизм русской литературы	49
Каверин	52
Довлатов	55
Константин Бесков	60
Григорий Федотов, внук	62
Англия – 19:9	65
Мадрид – 1:2	68
Любовь	73

«Динамо» – «Спартак»	75
Таланты и завистники	78
Андрей Битов	82
Рожденный Петербургом	84
Лидия Яковлевна и Алексей Алексеевич	86
...Серьезная страна	88
Роман о террористе	90
Конец ознакомительного фрагмента.	92

**Виктор Бузинов,
Николай Крыщук,
Алексей Самойлов**

**Расставание с мифами:
Разговоры со знаменитыми
современниками**

© Бузинов В., наследники, текст, 2010

© Крыщук Н., текст, 2010

© Самойлов А., текст, 2010

© «Дело», текст, 2010.

*** * ***

Не уклоняться от судьбы

Вместо предисловия

*Судьба, о судьбина,
Как всех я покину,
Мне в целой вселенной
Не будет замены.
Появятся вещи
Того-то, того-то,
Слова будут хлеще
И тоньше остроты.
Но суть не во вкусе,
Не в блеске работы.
Стихи мои – гуси
Порой перелета.
Часть стихотворений
Погибнет в дороге,
А те, что смиренней,
Спасутся в итоге.*

Человек, только родившись, уже начинает готовиться к смерти. Не только философ, всякий человек живет в постоянном соседстве со смертью и, предчувствуя свою судьбу, мужественно не уклоняется от нее. (Старые философы определяли это состояние как «amor fati», что в переводе с латыни означает «любовь к судьбе»). Ну, может, и не всякий, а тот, кто подобно чешскому поэту Витезвалу Незвалу,

чьи стихи я привел в переводе Бориса Пастернака, знает, что суть не в блеске работы, а в уникальности и незаменимости каждой прожитой жизни, где всегда есть место тайне и чуду.

Надо только не быть мертвым внутри жизни, не бояться жить, делая ставку на правду и свободу, расставаясь с навязанными нам тоталитарным государством мифами, которые скрывают истину и мешают наслаждаться свободой и радостью бытия. Надо учиться мыслить правдиво, спрашивая себя, правильно ли поступаешь, правильно ли живешь, помня, что сделаться человеком нельзя разом, а надо, как замечательно сказано у Достоевского, выделаться в человека.

Герои-соавторы книги «Расставание с мифами», родившейся на страницах петербургского аналитического еженедельника «Дело», не боялись, не боятся жить, стремясь найти ответы на вызовы времени, разгадать тайны «века Великого Расставания с Мифами», как назвал двадцатое столетие Борис Стругацкий.

В особом представлении наши герои-собеседники не нуждаются. Это люди известные, прославленные, знаменитые. Поэтому у книги такой подзаголовок – «Разговоры со знаменитыми современниками». От интервью разговоры-диалоги отличаются не размером, а вектором разговора, исповедальностью тона. Можно определить этот жанр как приглашение к размышлению о жизни и судьбе.

Большинство наших героев – петербуржцы, гении места, люди самого «умышленного», фантастического, единствен-

ного античного города России, а со времен античности «ум» и «вопрос» слова-синонимы. Мы живем в вопрошающей цивилизации. Мы живем в вопрошающем городе. Поэтому – а не только потому, что по законам жанра мы расспрашиваем своих собеседников – в книге так много вопросов, высказанных и невысказанных. Герои и авторы книги, разговаривая друг с другом, вступают в диалог с читателями. О времени и жизни, правде и мифах, веке и вечности.

У тайн жизни, открывшихся героям книги, своя иерархия. Для одного главная тайна связана с опытом быстротекущей жизни, возрастом, другой ищет разгадку в человеческой психике, в безднах души, третий – в истории страны.

Все они, мучительно ищущие смысл жизни, словно договорились не выдавать её сокровенную тайну. Тайна потому и тайна, что она зафлажена для нас. Можно вычислить её, подойти к ней очень близко – проникнуть в неё нельзя. Проникнуть в тайну нельзя, но сделать попытку необходимо. Не так ли обстоит дело и с прошлым? Переделать его нельзя, но передумать-то можно.

Для того и передумываем, чтобы переделать. Не прошлое. Настоящее. Сегодняшнюю жизнь, у которой к нам с вами столько вопросов...

Осталось представить авторов книги.

Все трое учились на филологическом факультете Ленинградского университета, работали (сотрудничали) на радио, в

журналах «Аврора» и «Нева». Все трое – лауреаты журналистских, литературных и кинематографических премий СССР, России и Санкт-Петербурга.

Если вы привыкли начинать день, настроившись на волну городского радио, а в последние годы «Радио России», то вас неизменно сопровождал голос Виктора Бузинова, автора программы «Прогулки по Петербургу». Из его «Прогулок», в которых принимали участие архитекторы, историки, краеведы, выросли две книги – о Дворцовой площади и Васильевском острове, этюды лирической истории великого города.

Если вы имеете обыкновение путешествовать по океану российской поэзии, то вашим спутником и гидом может стать Николай Крыщук: «Открой мои книги...» (Разговор о Блоке), «Искусство как поведение. Книга о поэтах», «Стая бабочек, или Бегство от биографии», «Биография внутреннего человека»; филолог, прозаик, публицист Крыщук исследует личную жизнь человека в истории.

А мой главный интерес, предмет размышлений – игра как часть жизни, как модель бытия; этому посвящены повести «Время игры», «Тяжелые крылья», «Быть собой», «Катисса в Зазеркалье».

Алексей Самойлов

Владимир Аллой

Память, отнявшая жизнь



* * *

Книгоиздатель, редактор, историк Владимир Аллой, ро-

дившийся в Ленинграде 7 июня 1945-го, эмигрировавший из Советского Союза на Запад 29 октября 1975-го, покончивший с собой 7 января 2001-го, прожил отпущенный ему земной срок в Стране Памяти, занимаясь восстановлением прошлого своей родины – России.

По звонку времени

«Что за странная все-таки судьба: периодически бросать построенное ломовым трудом и начинать с нуля? – писал Владимир Аллой в мемуаре «Дым отечества». – У Лидии Яковлевны Гинзбург, великой умницы, где-то в записных книжках есть заметка о том, что хорошо бы «уметь кончать периоды жизни по звонку времени». Сколько раз со мной подобное уже случилось – четыре, пять?...»

Жизнь человека – тяжба с временем. Исход этой тяжбы предопределен, отдельный человек в конечном счете всегда в проигрыше, но у человечества есть средство, единственное, по слову Иосифа Бродского, средство, чтобы справляться с временем – память.

Трагична судьба реставратора памяти во времена распада («распалась дней связующая нить – как нам обрывки их соединить?»). Ломовой подвижнический труд по восстановлению порушенной годами общегосударственного беспамятства цепи времен надсаживает сердце, надламывает душу.

Владимир Аллой, мечтавший научиться кончать периоды своей жизни по звонку времени, оборвал в восьмой день нового столетия – по звонку времени? – нить жизни.

Он жил в двадцатом веке, он жил двадцатым веком, невероятно понизившим ценность человеческой жизни. Он не хотел жить в двадцать первом веке.

Конец одного века, начало другого (не просто века – тысячелетия) – на сломе времен человечество заглядывает в эсхатологические бездны, человек преступает пределы отчаяния, хрупкая душа не выдерживает тяжбы с временем. Как писал Андрей Белый, постоянный собеседник-советчик Аллоя: «Мы не конец века, не начало нового, а схватка столетий в душе».

Человек, чувствующий течение истории как коллективной памяти, осознающий «свое» как часть «общего», сосредоточенный, заикленный на «общем» минувшем, прошлом, признающий его могущество, становится жертвой этой схватки столетий в душе.

«Если что и будет причиной моей смерти, так это моя память».

«...Память отнимает у тебя твою жизнь – хотя бы тем, что будет превращать ее в заведомое вечное прошлое, в тот самый момент (или же задолго до него), когда вершится настоящее».

Это, если угодно, – случай Аллоя (причина моей смерти – моя память), но написал эти строки не Владимир Аллой, а человек в чем-то схожей с ним судьбы Манук Жажо-ян, критик, переводчик, поэт, с октября 1992 года работавший в Париже литературным обозревателем газеты «Русская мысль» – его жизнь оборвалась июньской ночью 1997 года на Невском проспекте в Петербурге. Его книга «Случай Орфея» вышла в нашем городе незадолго до смерти Аллоя.

Дом рассеянных

А последняя книга Владимира Аллоя «Диаспора: новые материалы. Выпуск первый» увидела свет всего за несколько дней до 8 января 2001 года...

У текстов, собранных под белую шелковистую обложку фолианта, разные авторы. В роли публикаторов воспоминаний, писем, дневников этих и других русских эмигрантов выступают авторитетные отечественные и зарубежные литературоведы, искусствоведы, слависты.

И все-таки эта книга, вышедшая в издательстве «Atheneum – Феникс» в Париже – Санкт-Петербурге в 2001 году, – прежде всего книга Владимира Аллоя, представленного в альманахе как ответственный редактор (выпускающий редактор – его жена Татьяна Притыкина).

Прежде чем выпустить «Диаспору», этот том, нет – дом рассеянных (диаспора – по-гречески рассеяние), Володя стал оторвавшимся от ветки родимой листком диаспоры.

Изгнание – удел всякого эмигранта, даже покинувшего родину по доброй воле. И можно сколько угодно утешать себя тем, что рассеянные, живущие вдали от России, находят не в изгнании, а в послании, хлеб чужбины не становится от этого слаще. Изгнанник не перестает ощущать себя изгоем, сиротой, он живет с отчаянием в душе, вечно напряженной, мятущейся в трагических поисках выхода, спасения.

Воспоминания Аллоя – «Записки аутсайдера» в четырех томах «Минувшего» и «Дым отечества» в «In memoriam», историческом сборнике памяти А. И. Добкина, названы рецензентом «Нового мира» болезненными, трагическими (журнал «Новый мир», № 1-2001 г).

Журнал поступил к петербургским подписчикам через две недели после гибели Володи, и слова критика приобрели характер сбывшегося мрачного прогноза о судьбе человека, словно несшего, по собственной самооценке, какую-то неотчетливую опасность для окружающих, создававшего напряженность и ощущение дискомфорта одним фактом своего присутствия или даже существования.

Двумя годами ранее «Новый мир» опубликовал очерки изгнания Александра Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов», где нобелевский лауреат, вспоминая, как «третьеэмигрант Аллой» занял пост директора парижского издательства «ИМКА пресс», дал такую характеристику начинающему тогда (в середине 70-х) издателю: «Я никогда его не встречал. Но издали глядя – от деятельности его в «ИМКЕ» осталось ощущение возбужденной лихорадочности, темпа как цели».

Водолазы, поднимающие правду

Своя своих не познаша...

Переехав из Европы в Америку, великий изгнанник, автор «Архипелага ГУЛАГа», задумал создать свое издательство, но сразу же увидел – им одним не возмочь: «Как всегда во всяком русском деле: нет людей».

Никита Струве, направлявший деятельность «ИМ-КИ» (Солженицын вел с ним переговоры об издании своего собрания сочинений) был того же мнения: «Дела много, делателей мало...»

Сказал Струве об этом Владимиру Аллою, осенью семьдесят пятого эмигрировавшему из Советского Союза, после нескольких месяцев жизни в Вене и Риме очутившемуся в Париже, на третий день своего парижского пребывания познакомившемуся с Никитой Струве, направлявшим деятельность знаменитого эмигрантского издательства «ИМКА пресс», главным редактором «Вестника РХД» (Русское студенческое христианское движение было основано отцом Сергием Булгаковым, а издательство «ИМКА» – другим знаменитым русским философом Николаем Бердяевым). Даже не сказал, а написал: уезжая на Лазурный берег и, продолжая разговоры о возможной работе Аллоя в «Вестнике» и издательстве, он и оставил своему новому русскому другу записку, начинавшуюся словами о деле и делателях.

Судьба, с которой Владимир Аллой, как всякий «рассеянный», круто изменивший течение своей жизни, вступил в поединок, словно давала ему возможность отрешиться. Предложение Струве было и подарком, и вызовом. Он принял дар с благодарностью, а вызов – с бесстрашием.

Несколько десятилетий назад, избавляясь от страха, мы пытались самоопределиться в новом для нас пространстве – поле свободы. Мы читали сам и тамиздат, кое-что прорвавшееся через рогатки цензуры, – и правда открывалась нам, казалось, она всплывает со дна, придавленная до поры глыбами несвободы – однако тот же Белый не верил в «самовсплытие правд; если что и всплывает, то благодаря поднимающим водолазам; можно утопить ценность в океан, не оставив следов и для водолазов; непобедимая Армада канула без следов с миллионами золота».

К поднимающим правду водолазам могут и должны быть отнесены противостоящие лжи и мертвечине официальной историографии молодые ленинградские историки, задумавшие в начале 70-х исторический альманах «Память», – Арсений Рогинский, Феликс Перченко, Александр Добкин, Лев Лурье. С ними был и Владимир Аллой, который хотел только одного – быть самим собой и нырять за золотом правды на дно памяти-истории, где лежат все Армады мира, в том числе и та, что более всего интересовала – Россия. Россия прошлого, минувшего, в том числе и рассеянная по миру...

Мир представлялся ему и океаном, в котором он и нырял,

и тонул, и берегом, на который выбирался. И на Запад уехал, потому что хотел свое дело делать, – к другому берегу приблизился, ибо со своего берега водолазные, эпроновские работы по подъему правды тогда были невероятно затруднены.

Через двадцать лет после своего отъезда в эмиграцию, через пять лет после возвращения из нее в Петербург успешный издатель исторических альманахов Аллой скажет:

– Никто нас никуда не посылал – ни в семнадцатом, ни в сорок пятом, ни в семидесятых, ну, может быть, за исключением нескольких десятков действительно высланных. Ехали от ужаса, от невозможности смириться, от желания самореализоваться – причин была масса. Но ехали или бежали сами. Конечно, в продолжении всего этого века у эмиграции была своя роль, менявшаяся с годами: сначала – хранительницы культурных традиций, потом – свидетельская. В мое время мне казалось, что основная ее задача – служить материальной базой того живого, что происходило в России, ну, скажем, издание книг, созданных здесь без надежды быть напечатанными.

Человек пути

Общесоветская матрешка – это одна клетка, встроенная в другую клетку, а та – в третью... Коммуналку, в которой в доме на Васильевском острове, близ Стрелки, живет семья Аллоя – та же клетка площадью 16 квадратных метров для четырех жильцов, а всего 16 квартиросъемщиков, 47 человек. Общая ванна, два туалета, 17 электросчетчиков, полчища клопов... Но всюду жизнь – и в клетке, и на Неве, и на набережной, и в парадняках, и особенно во дворе (послевоенные дворы – родился Володя в июне сорок пятого – непременно с поленицами). Рыбалка, футбол, волейбол, игра в «попа-загонялу», выгуливание девочек по набережной, катание на льдинах по Малой Неве – все это у него, как и у всех василеостровских пацанов, но есть и то, что обнаруживает в нем человека Пути: обожание истории с младых лет, семь школьных лет без пропусков переходит два раза в неделю Дворцовый – занимается в Эрмитажном клубе юных археологов, в среднеазиатском и русском отделах...

Потом будут археологические экспедиции, осуществленная после армии мечта дервишествовать – объехал и обошел Среднюю Азию, Кавказ, Крым, Ростовскую область: грузчик, железнодорожный рабочий, цирковой униформист – чем только не зарабатывал на пропитание... Учился в университете – сначала на физическом факультете, потом на во-

сточном, на филологическом, мечтал писать, бредил Хлебниковым и Заболоцким, читал Шаламова, Солженицына, Платонова, Пастернака, Мандельштама, (русских религиозных философов прочел уже в Риме и Париже), работал ночным сторожем в Зоологическом институте (в фотолаборатории там по ночам печатали самиздат), летом снова дервишествовал. В пути, в ночных музейных бдениях, в нескончаемых спорах о Пути в своем кругу таких же обожателей истории, одержимых поиском правды, готовил себя к делу, которому отдаст жизнь.

Суфийский мастер Санаи из Афганистана, учитель Руми еще в 1131 году наставлял: «Перестаньте заниматься болтовней перед людьми Пути, лучше преодолите себя. Если вы стоите вниз головой по отношению к Реальности, ваше знание и религия извращены. Человек сам запутывает себя в своих цепях. Лев (человек Пути) разбивает свою клетку на части».

Мало разбить свою персональную клетку на части. Надо помочь сделать это своим согражданам, помочь им стать с головы на ноги в историческом времени и пространстве.

Делатель

Поэты, художники, химики, физики, математики, биологи – все они уходили в историю: пытались докопаться до источников, скрытых за дверьми «спецхранов», отыскать если не документы, то хотя бы свидетелей этих страшных и страстных лет, понять, как же все было, делались составителями и комментаторами самиздатских собраний сочинений авторов, выброшенных из советской истории.

«Странный поиск» (как назвал его Аллой), которому учителя, инженеры, младшие научные сотрудники, сторожа, операторы котельных отдавались душой, сердцем, умом, приносил массу неприятностей на работе, приводил к увольнениям, слежке, обыскам, порой и лагерным срокам. Но подъем затопленной правды, вспоминал Аллой, давал им и осмысленность жизненного пути, тесный дружеский круг, ощущение локтя и столь важное для тех лет сознание «общего дела».

Поздние шестидесятники политически и мировоззренчески озабочены более, чем ранние шестидесятники. Недоуменный вопрос известного ленинградско-московского писателя нашего, шестидесятнического поколения: «И почему я так вовлекся не в свое, а в общее?», заданный им в декабре 1991-го, выдает в вопрошающем человека, сделавшего первый глоток свободы двадцатилетним, в 1956-м, рьяно обе-

регающего с той поры свою участь человека частного, старающегося держаться подальше от какой бы то ни было общественной деятельности, всякого «общего дела».

Дервиш, скиталец, лев-разрушитель клеток, горячий неистовый спорщик, отстаивающий суверенность своего внутреннего мира от любых посягательств, отвергавший клановую, цеховую, полковую, партийную, классовую и прочую стадную этику, настаивающий на своем, личном «privacy» как краеугольном камне самостояния личности, Володя по своему душевному устройству, по натуре был человеком частным, приватным, шестидесятником скорее ранним, нежели поздним. Отсюда прокламируемое им аутсайдерничество, принципиальное нежелание идти под стягом какого-либо движения, примыкать к какому-то течению, направлению. Но по своей по доброй воле он с молодых лет вовлекся в «общее» и перепрограммировал себя так, что служение «общему делу» стало для него содержанием и смыслом жизни.

Для души подобное перепрограммирование даром не проходит: живешь, постоянно себя осаживая, стреножа, подчиняя незаконное, вольное сердце догмам идеи, веры, долга.

Но делу, работе это все только во благо. Рожденный для жизни артистически-легкомысленной, с душой поэта, забияки, гуляки, он не дал ничему и никому, включая свое естество, натуру, сбить себя с панталыку, с Пути истинно-

го и выковался в такого делателя-подвижника, каких всегда на Руси привечали особо («Делатель нивы и делатель почвы умственной равно почтенны») и о дефиците которых сокрушалась в двадцатом веке вся русская интеллигенция – от С. Н. Булгакова и других авторов «Вех» до А. И. Солженицына и Н. А. Струве.

Делатель почвы умственной в наших широтах, особенно тот, кто занят подъемом правды, поиском того, как же все было на самом деле, – непременно человек с большой совестью, ибо потребность узнать правду о прошлом России (жизнь ее, по словам одного историка, отличает исключительно мощное облучение прошлым) есть потребность столь же умственная, сколь и сердечная, душевная, совестная: у нас совесть, чувство побуждающее к истине и добру, называют прирожденной правдой. И тем успешнее идет работа по подъему памяти, эта совестная работа, чем сильнее развито в человеке чувство прирожденной правды, чем сильнее его ответственность перед насельниками Страны Памяти, чем глубже его вовлеченность в общее-свое.

На каком-то глубинном уровне «общее дело» Аллая и других делателей пересекается, смыкается с «философией общего дела» оригинальнейшего русского мыслителя Николая Федорова.

Собирание и восстановление общей исторической памяти, реанимирование прошлого, сокращающее нам опыты быстротекущей жизни, самим реаниматорам жизнь со-

кращает. Как чернобыльские ликвидаторы, они работают в опасной для жизнедеятельности зоне, зоне жесткого облучения прошлым, на границе смерти и жизни.

Выдающийся отечественный историк Михаил Гефтер, по-
могший, кстати сказать, в конце 80-х перебазировать Ал-
лою его издательство из Франции в Россию (главную роль
тут сыграл завлит МХАТа Анатолий Смелянский), назы-
вал Страну Памяти «миром живых мертвых» и вполне по-
федоровски утверждал, что обязанность историка обращать
смерть в жизнь, смертных в живых.

Жертвенное занятие: работать постоянно в такой сре-
де, в такой заикленности на прошлом – самоубийствен-
но, но как личность ты укрупняешься, облучаясь истори-
ей, как человек растешь вместе со своим делом. Предва-
ряя сборник памяти Александра Добкина, Аллой соотносил
жизнь своего друга, становление его души (и своей, конечно,
тоже), судьбу целого поколения с их вовлечением в общее
дело:

«Вряд ли те, кто отправлялся в путешествие в семидеся-
тые, догадывались, сколь долгим и захватывающим оно бу-
дет. Опыт, понимание, словом, то, что принято называть зре-
лостью – приходили в процессе работы. Вместе с делом рос-
ли и его участники... Они никогда не воспринимали себя ча-
стью «советской научной интеллигенции», не называли свои
поиски «наукой». Но дело, которому они отдали жизнь, и ре-
зультат его – десятки томов с разнообразными материалами

по российской истории, ими выношенные и созданные, – уже прочно и без всяких официальных ярлыков вошли в культурный обиход, став фактом общественного сознания, общественной памяти. Хотелось бы верить – надолго...»

Современный Дягилев

Таких томов – если сложить «Память», «Минувшее», «Лица», «Звенья», «Невский архив» и другие исторические, биографические, историко-краеведческие, мемориальные сборники и альманахи – вышло в издательствах, созданных и возглавляемых Владимиром Аллоем, таких, как «Presse Libre», «Atheneum», «Феникс», «Феникс-Atheneum», не меньше ста.

Сто томов реанимированного прошлого, целая книжная полка, и если рай, в представлении Борхеса, разделяемом и автором этих строк, и, помнится, Володей, – библиотека, то без этой книжной полки в райской библиотеке не обойтись.

С чем сравнить это предприятие, совершенное во многом усилиями одного человека за двадцать с небольшим лет?

– Его сто томов сопоставимы с «Литературным наследством», – убежден член-корреспондент Российской Академии наук, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома, видный исследователь русского символизма Александр Лавров. Представитель «Дiasпоры» по Санкт-Петербургу, он участвовал как автор и публикатор в «Минувшем», был редактором-составителем биографического альманаха «Лица».

– Да-да, эти книги, которые он сам набрал, отредактировал, составил или как-то стимулировал их возникнове-

ние, все результаты этой деятельности по значению созданного им для истории русской литературы, русской общественной мысли вполне сопоставимы с таким предприятием, как «Литературное наследство», солидное и уважаемое издание, которое зародилось в конце 20-х годов и выходит по сей день. Его делали и делают десятки людей, в нем участвовали и участвуют сотни исследователей. По масштабу сделанное главным образом Володей и очень немногими его сподвижниками – рядом с ним в лучшие времена были три-четыре человека – соотносимо с результатами деятельности больших культурных концернов. В самые глухие годы, пережитые нашим поколением, он, оказавшись а парижской эмиграции, основал издательства и выпустил в свет книги, у которых тогда не было никаких шансов на опубликование в России: «Воспоминания о Штейнере» Андрея Белого, «Погружение во тьму» Олега Волкова, «Воспоминания» Лидии Ивановой, дочери поэта Вячеслава Иванова, двухтомник «Жизнь Льва Шестова» (по его переписке), неизданного Ремизова, полное собрание стихов Ходасевича, многое другое, а также серию исторических сборников «Память», продолжением чего стали исторические альманахи «Минувшее» (первые 12 выпусков были изданы в Париже, последующие 13 – в России). Ими был введен в читательский оборот огромный пласт неизвестных ранее текстов – воспоминаний, дневников, писем, исследовательских работ, построенных на документальном материале.

Я слушаю ученого и думаю о том, что история жизни Владимира Аллоя – сюжет для большого авантюрного романа. Судите сами...

Униформист Ростовского цирка, ночной сторож ленинградского академического института, по израильской визе выезжает с женой Радой из Союза. Вместо Штатов, куда все устремлены, полгода живет в Риме. Оттуда перебирается в Париж, в одночасье становится исполнительным директором авторитетнейшего эмигрантского издательства. Зарабатывает на жизнь техническими переводами с английского и на приличнейшем (выучил уже в эмиграции) французском преподает в Институте политических наук будущим дипломатам и сотрудникам администрации президента Франции (впоследствии один из них проездом из Парижа в Улан-Батор через Москву будет в дипломатическом багаже провозить запрещенную к ввозу в СССР литературу, издаваемую Аллоем).

Колесит по Америке в поисках грантов и стипендий для очередных своих издательских начинаний. Успевает подружиться и разругаться с известнейшими людьми эмиграции. В перерывах между своими издательно-редакторско-преподавательскими делами пишет всевозможные статьи для нью-йоркских и парижских эмигрантских газет, сотрудничает с Би-Би-Си и французским международным радио. В редкие недели вакаций «оттягивается» в автопробегах по Испании и возлюбленной Италии... И много чего друго-

го – бурного, занимательного, захватывающего. У героя этого романа невероятный энергетический потенциал, это Левша, подковавший французскую блоху, взбаламутивший воду в русско-французской Сене, точно пушкинский Балда...

Дервиш... Человек Пути... Балда на Сене...

И все это о нем – друге нашем сердечном, распорядившимся так... (а как? – я слова не подберу: не знаю) своей жизнью, словно он и есть сочинитель этого романа, творец этой жизни, а не смиренный раб Божий, учившийся смирению и у пастырей своих церковных, и у своего издательского наставителя, вразумлявшего его, что лучше всего смирению учит корректура...

А уж сколько он корректур держал, сколько тысяч страниц сам, на им же купленных машинах набирал, сколько книг сверстал – не сосчитать! Все умел сам, своей головой и руками сделать – и сочинить текст, и раскопать редкость-жемчужину в архиве, и обольстить ценного автора, и составить сборник, и с типографами договориться, и сам, коли припрет (а припирало часто), типографом стать, и тиражи по магазинам и складам развести...

Сколько корректур держал, а смирению не выучился, жестокости своей прирожденной не оборол...

Вот как его место в доме русской культуры последних десятилетий XX века определил Александр Лавров:

– Как деятель Аллой универсально аккумулировал в себе усилия других и благодаря этой аккумулирующей энер-

гии в значительной степени и создал себя как личность. Он для меня человек Дягилевского типа. Сергей Дягилев сам немного написал, но сколько замечательных начинаний в первой трети прошлого века связано с его именем: без него не появилось бы ни художественное объединение «Мир искусства» и одноименный журнал, ни русский балет в Париже, ни многое другое как у нас на родине, так и на Западе. При всей дерзновенности таких сопоставлений для меня Владимир Аллой – личность именно такого типа, движущая сила культурного процесса. Своей личностью он давал, дает и, полагаю, будет давать стимул для того, чтобы культурная жизнь развивалась, память сохранялась, чтобы культура самоосуществлялась.

Дым отечества

И еще Лавров заметил переплетение в своем друге и соратнике мажорного и минорного начал: очевидный мажор был результатом его издательских инициатив, глубокий минор рождался в его душе при столкновении с новой Россией, которую он узнавал заново при возвращении в 1991-м из Парижа, где он за пятнадцать лет пообжился, пообвык...

Тут нужно заметить, что Аллой приехал на разведку четьрьмя годами раньше, чтобы понять, почувствовать, насколько серьезны изменения в стране, провозгласившей перестройку, объявившей гласность, и можно ли здесь, на родине, продолжать то общее дело воскрешения, возрождения исторической памяти, которым он занимался в Париже при поддержке друзей из Союза.

Выяснилось, что можно, но очень и очень трудно. Капитальность и необратимость демократических преобразований он брал под сомнение. В предпосланном 25-му, последнему тому «Минувшего», вышедшему в Петербурге в 1999-м, предисловии издатель подводил итоги эпохе, работе и, как выяснится довольно скоро, и самой своей жизни:

«За эти годы канула в Лету целая эпоха, в Кремле сменилось уже пятеро диктаторов и, как минимум, три идеологии, проиграны две войны, говорят, что разрушен коммунизм.

Последнее утверждение, правда, остается лишь гипоте-

зой, к тому же бездоказательной. Зато совершенно очевиден другой, поистине тектонический сдвиг: исчезла, и теперь уже безвозвратно, страна – многовековая Российская империя, – которая, как бы ни относиться к ней, определяла и мирозерцание, и культуру, и самосознание, и быт населявших ее людей. Не выходя за рамки того дела, о котором говорилось выше (*речь идет о восстановлении исторической памяти, которым Аллой и его сподвижники занимались в разных странах, под разными издательскими марками – А. С.*), сдвиг этот можно определить совершенно однозначно: сменился объект исторического исследования, если, конечно, воспринимать Россию не как империю Великих Моголов или царство Урарту, а как живой страдающий организм...

Для изучения нового исторического образования понадобятся, вероятно, иные методы, иные формы, которые еще предстоит выработать. Трудно сказать, под силу ли это нашему поколению, всей жизнью своей связанному с прошлым».

Выпустив 25-й том в отстроенном на питерском болоте «Фениксе» (издательство Аллой получило премию «Северная Пальмира» как лучшее из 300 петербургских издательств), заработав издательскую марку, набрав много материалов, успешный издатель бросает налаженное дело и весной 1999-го перебирается во Францию. Не для кого, считает, ему теперь здесь работать: страна и ее культура летят в пропасть, библиотеки разорены и давно не приобретают книг,

а его потенциальный читатель — научная интеллигенция — объят ужасом последнего дня Помпеи и превращен в люмпена.

Развивать академическое, заведомо неприбыльное дело среди всеобщего распада он полагает чистым безумием. Да и что-то внутренне исчезло, словно кончился завод.

В Париже его, между прочим, никто не ждет, так что ближайшие друзья, тот же Виктор Семенюк, кинорежиссер, познакомивший меня с Володей четырнадцать лет назад, не верят в его окончательный переезд во Францию и полагают, что он вернется в Питер через несколько месяцев, убедившись, что жить без России он уже не сможет, будучи окончательно и навсегда ею отравлен.

Отравленность Россией и ее прошлым, наверное, мешали ему разглядеть в лице новой, возрождающейся из морока, исторического забвения родины приметы выздоровления. Да и пятнадцать парижских лет влияют на зрение реэмигранта-возвращенца, его избирательность. То, что мы, не сталкиваясь прежде в реальной жизни со свободой слова, с отсутствием цензуры, воспринимали как великое обретение, он, успевший еще «отравиться» и Парижем, воспринимал как нечто самоочевидное и посмеивался над телячьими восторгами «новообращенных».

Ну а что уж очень резало ему глаз, вызывало чрезвычайную досаду и даже клокочущую ненависть, так это постсоветское нуворишество, гримасы нашей псевдокапиталисти-

ческой жизни (наблюдение А. В. Лаврова).

Как бы то ни было, многое, слишком многое отталкивало его от родной страны. В мемуаре «Дым отечества», второй части «Записок аутсайдера» Аллой писал:

«Куда же плыть? На родину? – я ведь все-таки французский гражданин, по крайней мере по паспорту. Или опять в эмиграцию? Но она закончилась, во всяком случае та, в которой мне однажды приходилось жить. Для существования диаспоры необходима разность потенциалов с метрополией, лишь она сможет гальванизировать искусственную эмигрантскую активность. Сегодня такой разности потенциалов нет, а следовательно, нет и рассеяния как компактной социальной среды. Есть отдельные люди. Вполне вероятно, что классическая эмиграция возникнет снова – с Россией ни в чем нельзя быть уверенным».

Долго будет родина больна

И с людьми, рожденными в России и отравленными ею, тоже ни в чем нельзя быть уверенными.

Друзьям из Питера, гостившим у него в Париже прошлым летом (дар дружества у него редкий, в дружбе щедр и бескорыстен) в горькую минуту признавался:

– Дело наше зашло в тупик. Никому теперь ничего не нужно. В России я жить не могу, а Париж – умирающий город, парижская эмиграция разлагается, применения себе здесь не вижу, остается мне одно – тихо спиваться...

Но вообще-то – за вычетом горьких минут – выглядел он чрезвычайно бодрым, энергичным, веселым и рассуждения о тупиковости дела прерывал, побивал разговорами о «Дiasпоре», новых проектах, планах...

Через полтора года после второго «окончательного» отъезда из Петербурга в Париж, если быть совсем точным – 7 декабря 2000 года Владимир Аллой вернулся в родной город, чтобы форсировать в Академической типографии «Наука» на 9-й линии Васильевского острова выпуск «Дiasпоры», отметить с друзьями Новый год и Рождество, съездить в Москву расплатиться с авторами по первому тому «Дiasпоры», договориться о материалах для последующих выпусков, по возвращению из столицы, 9 января, если потребует-ся и 10-го, с чувством, толком, расстановкой побеседовать

с обозревателем «Дела» по проблемам русского рассеяния в этом безумном, безумном мире («Два дня тебе хватит? А то давай, как Иванов с Гершензоном, организуем посредством «емели» переписку из двух углов европейского захолустья – только надо договориться, кто из нас Иванов, кто Гершензон...»), а 17-го или 18-го января – обратно в Париж...

8 декабря в Центре неигрового кино на Крестовском острове мы отметили, задним числом, 60-летие Виктора Семенюка (здесь, в киноцентре, была первая штаб-квартира «Феникса»). Разговор сумбурный, рванный, эмоционально вздрюченный, реплики Аллоя: «Что это тут за игры с гимном – бред какой-то... Интересно, почему Санька со мной не поздоровался сегодня утром? Ах, поздоровался, ну, значит, я не заметил, пардон... И все-таки у нас была великая эпоха... Какое будущее – о чем ты? Как говорят венгры, будущее исчезло, как серый осел в тумане...»

Володя почти не пил, жаловался на язву. Потом взял ключи от машины Виктора и развез нас по домам.

До его добровольного ухода из жизни оставался ровно месяц.

Почему?

Поспешил покинуть мир раньше, чем мир покинет его?

Закончил труд, завещанный от Бога?..

Не вынес тяжести сведений, которые узнал на водолазных работах по подъему затопленной правды, многолетнего об-

щения с памятью предков, огромным массивом исторической памяти, несомасштабного психологическим возможностям отдельного человека?..

Жизнь его – жизнь воина. Воина с забвением. Воина памяти.

Я – не первый воин, не последний, Долго будет родина больна...

Алексей Самойлов 2001 г.

Андрей Арьев Небо над «Звездой»



* * *

Этот человек известен многим, но о нем мы не знаем

почти ничего. Вениамин Каверин, переписывавшийся с ним несколько десятилетий, публиковал его письма в своих книгах. Сергей Довлатов называл его самым близким из литературных знакомых. Большие пятнадцать лет вместе с Яковом Гординым он возглавляет журнал «Звезда», один из лучших в России, но при этом продолжает вести себя как частный человек...

Возвращение в Царское Село

– Андрей, не так давно у тебя¹ вышла книга «Царская ветка», посвященная Царскому Селу. Этот город много значит для тебя. Ты воспринимаешь его через Пушкина, Анненского, Ахматову. И вот спустя несколько лет ты переезжаешь в этот город. Захотелось быть поближе к «великим теням» или прельстил сам пышный провинциальный город? А может быть, дело в том, что с ним у тебя связана «идея суверенного независимого бытия»?

– Вот это, последнее, очень важно. Литературного в моем поступке ничего нет. Я жил в достаточно литературном месте – напротив Русского музея, возле Спаса на Крови, но сознательно предпочел ему провинциальный уют и заброшенность. Что ни говори, Царское Село по отношению к Петербургу было и остается провинцией. В то же время это царская провинция. Здесь ощущается раскрепощающий душу покой, освобождение человека, оставившего безумную круговерть столичного города. В Царском есть все прелести столицы: отлично спланированная культурная компактность, начиная с тех же дворцов, прекрасная вода.

Это пригород, в котором не появляется комплекс пригородного человека, провинциала, вечно чего-то ждущего.

¹ С Андреем Юрьевичем у нас давние дружеские отношения, поэтому и во время беседы мы не отказывались от привычного «ты» – Н. Крышук

А достоинства очевидны: в сто раз лучше воздух, меньше народа. Для меня этот город связан с юностью, я в нем закончил школу.

– *Отсюда и посвящение: «Упраздненной 407-й школе города Пушкина, ее выпускникам, учителям и стенам посвящает эту книгу автор»?*

– Да. Самое первое сознательное открытие мира, а говоря высокопарно, чувство родины, это то время, когда человек лет примерно с четырнадцати до двадцати четырех открывает утром глаза и что-то видит за окном. То, что он в этом возрасте видит за окном, и является его родиной, это человек носит с собой. Так что для меня возвращение в Царское Село – в каком-то смысле попытка восстановить идентичность своей личности, связанную с определенным местом, где мне долгое время было хорошо.

А что касается литературных теней... В доме на канале Грибоедова рядом с моей квартирой находились когда-то квартиры Шварца, Гитовича, Зощенко, Каверина, Эйхенбаума... Поэтому, скорее, это было бегством от литературного соседства.

Четыре жирные кляксы

– Андрей, ты человек, который не много рассказывает о себе. Скажи, в силу каких обстоятельств – внутренних мотивов или биографической случайности – ты пришел на филфак, оказался в литературе и, в конце концов, стал критиком?

– На филфаке я оказался не случайно. Не потому что так любил литературу, но с литературой у меня с детства связаны приятные впечатления. Приятели моей мамы, ее одноклассники, стали очень хорошими филологами, веселыми симпатичными людьми. В детстве я проводил в их обществе много времени, и человеческое обаяние этих людей как-то вовлекло меня в филологию.

– Стихи писал?

– Писал, но кто в известном возрасте не пишет стихи? Это все ерунда. И было это уже в девятом-десятом классе, когда у нас сложился кружок, близкий к литературе. Мы выпускали стенгазету, за которую нас чуть не исключили из школы, потому что это было время венгерских событий, и на нас пытались навесить Бог знает что. Название газеты было странным: четыре жирные кляксы и знак восклицания. Вот власти и пытались догадаться, что за этими кляксами стоит. А нас просто было четыре человека, пятый был из другого класса. Но газету (два выпуска), тем не менее, содрали со стены и по-

везли в райком. Там пытались доказать нашу «связь» со студенческой литературной группой «Голубой бутон», о существовании которой я узнал лет через сорок.

После всей этой истории и окончания школы я и пошел на филфак. Хотя о филфаке у меня было самое смутное представление, не знал, что там буду делать: романы писать или кого-нибудь изучать.

– *И чем оказался тогда филфак на самом деле?*

– В реальности совсем не тем учреждением, которое я себе представлял. Вот пример моего недомыслия. На первом курсе фольклор у нас читал Пропп, один из самых великих ученых филологов. Фольклор я тогда знал плохо, но Блока уже знал. И я стал лепить Проппу на экзамене нечто по статье Блока «Слова и краски». Он обрадовался, что я это знаю, поставил мне пятерку и пригласил в свой семинар. Я ушел довольный, думая про себя с усмешкой: «Если на первом курсе меня сам Пропп пригласил в семинар, то что же будет дальше?» И в голову не пришло, что дальше все пойдет по нисходящей: от фольклора и древнерусской литературы до советской литературы последнего периода.

Спыхватился я на пятом курсе и сказал, что хочу писать диплом по теории романа. Мне предложили взять какой-нибудь роман и написать на его материале работу с теоретическим уклоном. Я взял романы Каверина и написал то ли работу по теории романа, то ли небольшую монографию о Каверине. А поскольку Каверин был, слава Богу, жив, я с ним

связался, мы как-то подружились и до его смерти встречались и переписывались.

Потом я год работал в издательстве Архангельска, потом какое-то время в «Лениздате», из которого чуть ли не в день пятидесятилетия советской власти меня выгнали за недостаточную лояльность и беспартийность. Мне намекнули, что пора выбирать более солидную организацию. Я спросил: «Которую из двух?» Они имели в виду партию, я – КГБ. Шутка не была оценена. Меня и Борю Парамонова, который работал корректором, осудили на собрании за распространение антисоветской литературы. Когда меня уволили, я отправился на вольную жизнь, много ездил в экспедиции – на Курилы, в Среднюю Азию, работал экскурсоводом в Пушкинских Горах...

Компьютер для первобытного человека

– *А в критику ты пришел стихийным путем?*

– В общем, да. С помощью каких-то статей была возможность зарабатывать. При этом я не называл бы себя профессиональным критиком, а просто литератором. У меня нет устремленности найти какую-то вещь и подвергнуть ее критике. Больше волнует не литература, а эстетика, сама жизнь, пропущенная через литературу, эволюция культуры. Мысли мне интереснее, чем персонажи и даже их авторы.

– *Зацеплюсь за слова «эволюция культуры». Что произошло с культурой за последние, скажем, сто лет?*

– Всякая культура питается памятью о прошлой культуре. Но новаторской часто считается та культура, которая отрицает прошлую. При этом забывается, что ее отрицание есть обращение к еще более архаическим слоям. Тот же русский футуризм, пытавшийся сбросить с «парохода современности» литературу девятнадцатого века, шел в глубь архаического сознания.

Декадентство, из которого вышел футуризм, во многом связано с юношеской неврастенией, а не с одряхлением, как обычно представляется: подростковое своеволие становится нормой культуры. Отрицая социальные и нравственные нормы современности, оно обращается едва ли не к пер-

вобытному человеку. У этого было, правда, и философское обоснование – Ницше и многое другое. Такой декаданс происходит и сейчас, только без мощного утопического порыва. Просто первобытного человека нагрузили еще и компьютером. От своего могущества ему самому стало вдруг жутко смешно.

Перестройка

– Обычно литераторы первую половину своей жизни служат, а потом уходят на вольные хлеба. Ты большую часть жизни был на вольных хлебах, а потом пошел служить и стал главным редактором журнала «Звезда».

– Это получилось стихийно, но, думаю, все же закономерно. В 80-е годы я довольно долго был литературным консультантом в отделе прозы журнала «Звезда». Среднее звено в «Звезде», как и в большинстве советских журналов, состояло из довольно милых, порядочных и образованных людей. Я хорошо изучил редакционную кухню, правила игры и был в дружеских отношениях с большинством сотрудников журнала. За журнал отвечали два человека: утвержденный в Кремле главный редактор и его первый заместитель. Протащить крамольный текст было невозможно, никакие редакционные совещания ничего не решали. И все же что-то проходило – печатались Юрий Казаков, Шукшин, Каверин.

Перестройка в «Звезду» пришла позже всего, потому что главный редактор Холопов верил, что вот-вот начнется «откат». Мы напечатали в «Известиях» письмо, которое подписала почти вся редакция. И началось противостояние: кто кого? Как ни странно, победило среднее звено, а не начальники. «Звезда» стала первым журналом в России, где главный редактор был назначен не в ЦК, а избран общим собра-

нием писателей в Ленинграде. Прозаик Геннадий Николаев был человеком порядочным, у него была вполне подходящая биография: физик-атомщик, приехал из Сибири, партийный. Тогда все это еще было важно – ведь его кандидатуру утверждали все же в Союзе писателей СССР. В сущности, он принес себя в жертву. Как только ему исполнилось шестьдесят, он тут же подал заявление об уходе. «Звезда» стала первым свободным журналом и до сих пор принадлежит только редакции, а соредакторами были выбраны мы с Яковом Гординым. Никаких финансовых или партийных групп за нами не стоит. Из чего, впрочем, не следует, что небо над нами безоблачно.

Нигилизм русской литературы

– Вернемся все же к литературе, которая для литератора и есть жизнь. В чем сказывается личность человека, который пишет о литературе: в выборе предмета, в стиле или в чем-то другом?

– Мне представляется, что какая-то книга, стихотворение или даже фраза соответствуют моим житейским переживаниям, и я пишу о своих мыслях и переживаниях, которые вызвала эта книга. А могли бы вызвать, допустим, береза или разговор.

– В таком случае вопрос: как случился твой многолетний литературный роман с Георгием Ивановым, который привел к созданию прекрасной книги в Большой серии «Библиотеки поэта»?

– На Георгия Иванова я набрел довольно поздно (да просто не было книг с его стихами, написанными в эмиграции). И нашел в нем созвучный моему представлению о сути вещей взгляд человека, который вроде бы отрицает наш мир, но при этом все-таки им наслаждается.

Этот нигилизм очень в духе русской литературной традиции, хотя прямо так никогда и не обозначался. Мне кажется, на примере Георгия Иванова я внятно показал, что наш нигилизм является подоплекой нашей веры. Мы так или иначе сомневаемся в наличии следов божественного в мире, мир

этот чаще кажется нам ужасным.

Эти ужасные чувства выражены у Иванова в гармонической форме, а все, что выражено в гармонической форме, прекрасно.

– *А чем ты объяснишь такое свойство своего героя, как желание сочинять в мемуарах, вернее, присочинять, попросту – врать?*

– У этого очень простое объяснение: находясь на расстоянии от чего-то (а писал он о России в эмиграции), мы воображаем это что-то не таким, какое оно есть. Далее: он не писал мемуары. Он хотел более сильно выразить то, что было когда-то, хотел сделать образ более реальным, чем сама жизнь, поэтому доводил любую ситуацию до гротеска. Из близких нам примеров: так писал прозу Довлатов. Она вся создана из узнаваемых деталей, но ничего общего с реальностью там нет.

– *Но Довлатов все же менял при этом фамилии.*

– Не всегда. В первом издании «Записных книжек» он написал, что профессор Доватур «заснул во время собственной лекции». Я говорю: «Сережа, что ты с ума сходишь! Доватур известнейший человек, один из лучших людей на филфаке. Что ты ему приписал?» Он: «А мне его фамилия по звуку подошла» (видимо: «Довату́р» – «засну́л»). В следующем издании стояла уже другая фамилия. А на самом деле он написал о себе, о реплике, которую получил в армии. В армии ему нужно было как «отличнику боевой и политической подго-

товки» выступать с каким-то докладом. Он что-то бормотал, бормотал, и приятель крикнул: «Серёга, ты во время собственного выступления заснул!» Ему запомнилось эффектное, абсолютно жизненное наблюдение, и он приписал это профессору-античнику. Так написана его проза, так писал свои мемуары и Георгий Иванов.

Каверин

– Поскольку, как ты писал, единичное существование важнее общих идей, давай перейдем к персоналиям. Тебя связывали с Вениамином Кавериным несколько десятилетий дружеских отношений. Расскажи, что это был за человек?

– Каверину понравилась моя работа о нем (дипломная), и он очень хотел, чтобы я написал предисловие или послесловие к его собранию сочинений, которое как раз тогда выходило. Но у меня в то время еще не было напечатано ни одной строчки, и предисловие заказали человеку с именем.

Мы, однако, продолжали дружить и переписываться. В своих книгах мемуарного характера Каверин не раз цитировал мои письма и даже печатал большие фрагменты нашей переписки.

Был он, конечно, человеком, прошедшим все соблазны. Потому что «Серапионовы братья», первая талантливая группа людей в советской литературе, были поглощены коммунистической утопией и вместе с ней начинали жить. Они думали, что революция, какой бы она ни была, отбросила всю старую рухлядь и расчистила поле для замечательных новых действий. Когда они увидели практику революции, то все равно сохраняли в себе иллюзию поступательного движения истории или хотя бы иллюзию просвещения.

Идол просвещения оправдывал их сотрудничество с вла-

стью, которая тут же уничтожала их близких и друзей, а также склоняла их самих к сотрудничеству со своим карательным аппаратом. Им казалось, что настоящие чувства добрые можно пробуждать в любой ситуации. Если у тебя есть талант, можно написать о чем-то завуалированно, выдумать героя, который не обязательно будет пламенным большевиком. Это блестяще и сделал Каверин в «Двух капитанах», выдумав героя, который устроил всех. Летчик, романтическая в сталинское время профессия, фамилия подходящая, происхождение нормальное, не из дворян, и в то же время это роман о человеческом достоинстве и поисках истины, которая не нуждается в политической расшифровке.

Когда в начале войны здесь, в Ленинграде, в КГБ-НКВД Каверина пытались завербовать и долго мурыжили, он вышел оттуда только потому, что был автором «Двух капитанов». Уехал из Ленинграда (ситуация здесь все равно была нестерпимая), уехал на Северный флот, а потом поселился в Москве, хотя всю жизнь считал себя ленинградцем. Меня звал переезжать в Москву, потому что, говорил, литературной жизни в Ленинграде не будет.

Я так не считал и остался в Ленинграде. Но они там, в Москве, все время пытались чего-то добиваться от власти, которая, по чести, многим была им обязана. В частности, в пятьдесят шестом Каверин, Казакевич, Паустовский, вся эта оттепельная компания, выпустили двухтомный альманах «Литературная Москва», за который их тут же стали

громить.

Каверин прожил сравнительно благополучную жизнь. Долго пытался и, наконец, научился писать сугубо реалистическую прозу. Хотя начинал гораздо интересней. Лучшая, на мой взгляд, из его книг — «Художник неизвестен», где больше внимания уделено эстетическим поискам и веяниям времени.

У Каверина был авторитет, он пытался помочь и помогал очень многим, ничего подлого никогда не делал, не предавал, никаких писем против своих братьев-писателей не подписывал. Был уже в статусе классика, жил в Переделкино, демонстративно не здоровался, скажем, с Катаевым, был одним из первых читателей и почитателей Солженицына, поддержал его. Он говорил, что в его литературной жизни были два неопознанных явления: Пастернак и Солженицын. Тынянова он понимал. Тынянов много сделал для развития Каверина как писателя. Весь посмертный Тынянов издан благодаря Каверину.

Довлатов

– Не могу не спросить еще об одном персонаже и твоём друге Сергее Довлатове. Вы, насколько я понимаю, люди противоположного склада. Я начал с того, что ты человек закрытый, свою биографию, свои переживания в текст не допускаешь. Довлатов же делал литературу из своей жизни. Как вы общались?

– Думаю, эта разность была удобна в общении нам обоим. Однажды мы встретили с ним на улице кого-то из знакомых, Сергей покосился на меня и сказал: «Вот сейчас у нас был монолог с Арьевым».

Сережа любил выпить и поговорить, и говорил непрерывно, но он умел и слушать, ему были важны какие-то реплики. Есть тип людей, прекрасно говорящих, но зато ничего не слушающих. Их раздражает, если кто-то еще говорит рядом. Была замечательная история: мы с Сережей жили в деревне, недалеко от Пушкинских Гор. К нам в гости приехал Женя Рейн, сочинитель раблезианских нелепиц, зашел и Володя Герасимов, превосходный знаток Петербурга. Володя очень любит рассказывать и очень хорошо рассказывает. Сережа часто раздражался: «Он говорит про неживое. Ну что мне эти наличники, где в каком году что было и кого как звали? Это невозможно, это лишняя информация!»

И вот мы собрались за одним столом: Рейн, Герасимов,

Довлатов и я. Ну и выпивка, конечно, стояла. Они начали говорить. Я видел, как каждый вцепился в стол и думал только о том, когда ему удастся вставить слово. В конце концов, кто-то толкнул стол, все полетело в разные стороны, в том числе дружба. К счастью, ненадолго, до следующего вечера.

Так что благодаря тому, что я не люблю говорить о себе, а известно, что с наибольшим удовольствием человек говорит о себе, у нас с Сережей бывали очень содержательные беседы. Он понимал, что я его слушаю. Когда мне хотелось развить какую-то мысль, он слушал меня. На две минуты его хватало.

— Насколько мне известно, ни Валерий Попов, ни Андрей Битов здесь, на родине, не ценили Довлатова как писателя. У тебя тоже так было? Или ты уже в Ленинграде оценил его литературное качество?

— В общем, да. После того, как он вернулся из армии и написал «Зону». До этого в нем было слишком много самоценного юмора, чтобы расценивать его серьезно. Видимо, так к нему и относились окружавшие его литераторы. Плюс к тому он был моложе всей тогдашней питерской когорты, прорвавшейся вперед. Моложе Попова, Битова, Грачева, Вахтина, даже меня немного моложе.

Сережа всегда был в центре внимания. Но совершенно не выносил, когда кто-то встает на котурны, и сам вел себя как человек простой, чуть ли не забитый, человек, которого легко обидеть, а понять трудно, то есть сам ставил себя в та-

кое положение. Поэтому общаться с ним было всем приятно, но всерьез воспринимать его как прозаика до конца 60-х никто не решался.

– *Но ведь большинство и до сих пор считает, что настоящим прозаиком Довлатов стал в Америке...*

– Те тексты, которые мы знаем сейчас как тексты Довлатова, доработаны в Нью-Йорке. Утверждаю, что доработаны. Кроме повести «Иностранка», которая не является его лучшим произведением. Остальное вчерне, в «первой редакции», было написано здесь. Просто в то время в Питере Сережа еще не выработал окончательно принципов своей стилистики. Но уже тогда он был автором достаточно известным, хотя и непечатающимся.

– *Андрей, ты как-то сказал, что Сергей все время повторял несколько строк Мандельштама и что ты только недавно понял, почему он их так любил.*

– Строки эти вот такие: «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,/ И Гете, свищущий на выющейся тропе,/ И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,/ Считали пульс толпы и верили толпе».

Сережа, в отличие от подавляющего большинства хороших писателей, «верил толпе». Для него действительно очень важен был еще, так сказать, «допечатный» отклик слушателей. Он и рассказы свои строил, основываясь на том, что они уже апробированы на публике. Прислушивался ко всем, носил свои рукописи хоть Бродскому, хоть ни-

кому не известной барышне, и всякий отзыв был ему ценен.

Я полагаю, что таков именно настоящий художник, прозаик в особенности. Сережа – замечательный пример того, что можно быть изысканным художником (как сложно написаны произведения Довлатова, мало кто подозревает) и в то же время полностью признанным «толпой». Он считал, что нельзя писать вещи, никому не понятные. Непонятное, многозначительное было ему в искусстве чуждо.

– Существует привычно романтическое противопоставление поэта и толпы. С другой стороны, бытует мнение, что истинный гений демократичен. Что было в позиции Довлатова: литературный антиромантизм или природный демократизм?

– Конечно, второе. Литературных программ как таковых Сережа никогда не отстаивал. Единственное его литературное самоопределение: «Я не могу писать вне сферы бытового реализма».

– В одном из писем к тебе Сергей дает замечательную самохарактеристику: «...заметь, пожалуйста, следующее: я считаю себя не писателем, а рассказчиком, это большая разница. Рассказчик говорит о том, как живут люди, прозаик говорит о том, как должны жить люди, а писатель – о том, ради чего живут люди. Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать и писателем». Это действительно так и Довлатов не сумел или не успел стать писателем?

– Он подозревал, что есть высший смысл, и подозревал,

что этот высший смысл есть и в его прозе. Но, выраженный словесно, он грозит обернуться банальностью. Поэтому лучше играть на понижение. Это было лукавство. Если бы он на самом деле был просто рассказчиком, он никогда бы такую триаду не выстроил, а скромно бы промолчал. Тем паче, заметь, от «рассказчика» он тут же перемахнул, минуя «прозаика», к «писателю».

– А Довлатов каким был в бытовых проявлениях и насколько его бытовое поведение соответствует поведению его героя?

– В нем притягивало то, что он всегда готов был сознаться в своих дурных поступках и, в конце концов, признавался в том, что никто без нужды огласке не предает.

И потом, конечно, он всегда был готов ответить на уязвление его достоинства. Вот такой простейший пример: мы идем в Доме книги на третий этаж. На двух этажах книжный магазин, а на третьем и четвертом находятся издательства. Там сидел вахтер: «Куда идете? Здесь уже магазина нет». Мы, тем не менее, идем мимо. Он снова и снова кричит нам вслед. Мы сделали свои дела, спускаемся обратно. Сережа к нему наклоняется и говорит: «А что же Вы не сказали, что там магазинов нет?» Того чуть удар не хватил.

Николай Крыщук 2007 г.

Константин Бесков Патриарх футбола и генералиссимусы





Пеле как-то заметил, что футбол – сложная игра, поскольку играют в него ногами, а думать приходится головой. Думать и рисковать головой, в чем убеждает судьба патриарха отечественного футбола, знаменитого центрфорварда московского «Динамо» и сборной СССР, великого тренера Константина Бескова, которого лишили звания заслуженного мастера спорта при Сталине и сняли с поста старшего тренера сборной Советского Союза при Хрущеве.

Григорий Федотов, внук

– Константин Иванович, я помню о нашем уговоре – обойтись без прогнозов, но мой внук не простит, если я не выведу у самого Бескова, кто станет чемпионом мира?²

– Сколько внуку?

– Пятнадцать. В футбол не играет, но болельщик отчаянный, убежден, что в финале чемпионата мира встретятся Аргентина и Италия и аргентинцы победят...

– Аргентинцы? Вряд ли. Это ошипанная сборная, как и Бразилия: я потому их так называю, что их лучшие футболисты играют, как правило, в европейских клубах и только перед самым мировым первенством, на стадии отборочных игр, собираются вместе. Этого времени мало, чтобы наиграть полноценную команду. Но погодите – мы же условились, что заниматься прогнозами не будем, а вы нарушаете уговор. Скажите-ка лучше, за кого болеет внук?..

– В российском чемпионате, естественно, за «Зенит», в Лиге чемпионов – за мадридский «Реал», в английской премьер-лиге – за «Манчестер Юнайтед».

– Вам с внуком повезло. Мой, Григорий Федотов, совсем не интересуется футболом. Ему уже тридцать. Слава Богу, недавно женился. Как мы ни пытались увлечь его футболом, ничего не получилось. Когда брали его, маленького, на фут-

² Беседа состоялась за месяц до открытия мирового первенства.

бол, он на стадионе кораблики пускал. А когда захотелось ему играть, на семнадцатом году, уже было поздно: технику ведь не купишь, ее очень рано надо приобретать.

– *А Вы когда начали технику приобретать?*

– Мне шести лет не было, когда дядя Ваня, Иван Михайлович, родной брат матери – я из рабочей семьи, жили мы на тогдашней, двадцатых годов уже прошлого века, окраине Москвы, – повел меня на футбол. Играла команда «Рускабель», а с кем – забыл: прошло ведь уже семьдесят шесть лет. Зато тот футбол помню во всех подробностях. В тот вечер, наверное, я и стал футболистом. Уже на следующий день вышел на платомойку, как назывался пустырь, где женщины из окрестных домов стирали вещи, и начал с пацанами гонять за сараями резиновый мячик.

Природа, должно быть, наделила меня неплохими исходными данными: взрослые начали зазывать в свои самодеятельные команды, едва мне исполнилось десять лет.

– *А другой дед Вашего внука – Григорий Федотов, как он начинал, каким остался в Вашей памяти?*

– Начинал, как и я, на пустыре, в окрестностях подмосковного Ногинска. Григорий Иванович прожил всего сорок один год. Когда его не стало, Володе Федотову, сыну, было всего четырнадцать, а моей дочери, Любе Бесковой, – десять, и того, что у нас будет общий внук, Григорий Иванович и предположить не мог. Это был действительно великий футболист. Он выдавал поразительные пасы, неотразимо бил

по голу, играл с такой легкостью, с какой люди дышат.

Англия – 19:9

– Помню, как двадцать один год назад в Новогорске, на учебно-тренировочной базе сборных команд СССР, Михаил Таль, Вы и я сидели на лавочке перед старым корпусом базы, и мы с Мишей, болеющие за московское «Динамо» с девяти лет, с сорок пятого года, со времени Вашей триумфальной поездки в Англию и – смешно вспомнить – рассказывали Бескову, как он с Бобровым сокрушали лондонский «Арсенал»... Миши уже десять лет нет в живых – он так любил футбол, Вас, Константин Иванович, своего близкого друга Льва Яшина...

– Да-да, с Мишей всегда было очень приятно общаться: светлый, добрый, блистательно остроумный человек, так жаль, что он рано умер... А знаете, сколько осталось в живых от того состава, что ездил в Великобританию в ноябре сорок пятого? Двое – я и Соловьев Леонид, наш полузащитник. Леонид Константинович. Он 1917-го, старше меня на три года.

– Мы знали об этих играх из радиорепортажей Вадима Синявского и зачитанной до дыр книги «19:9», названной издателями по итоговому счету четырех матчей «Динамо» с родоначальниками футбола...

– Родоначальники до сих пор продолжают писать книги о турне советских футболистов на Британские острова. В ка-

нун своего 80-летия, осенью позапрошлого года, я получил из Лондона книгу «Пасовочка» о легендарном, как пишет автор Дэвид Даунинг, турне московского «Динамо» 1945 года с трогательной дарственной надписью...

— А уж у скольких наших авторов турне «Динамо» вызвало приступы вдохновения! Евтушенко через четверть века написал: «И трепетал голкипер «Челси»» — про гол Боброва, забитого с Вашей подачи. Поэт в России, вестимо, больше, чем поэт, а футбол в современном мире больше, чем игра: политика, война, религия, вселенское умопомешательство...

— Не только в современном мире. Возьмите ту нашу давнюю поездку. Время-то какое: только что долгая страшная война окончилась, мы вышли из нее победителями, и в то время, как напишет обозреватель лондонской «Дейли экспресс», все русские рассматривались как «сверхлюди», англичане увидели, как блеск воинской славы отражается на футболках гостей из России. Ну и в футбол русские, оказалось, умеют играть — несколько десятилетий спустя английский журнал «Футбол манфли» напечатал статью, где «Динамо» была названа великой командой, которая в коллективности игры, в предвидении, контроле за мячом, комбинационном даре, масштабности и результативности намного превосходила все иностранные клубы, когда-либо посещавшие Великобританию...

— Комбинационный дар — это Бесков, а результативность — Бобров, гений прорыва?

– Ну, почему же... Я, между прочим, забил в тех четырех матчах пять голов, а Бобров, как Карцев и Архангельский, забивали с моих передач. Англичане ведь тогда играли дружно и мощно, однако каждый в своей зоне, по своему «желобку». Мы же предложили им игру, которую называли между собой «хорошо организованный беспорядок». Наш спектакль под названием «Блуждающие форварды», хорошо организованный и заранее отрепетированный, ставил защитников «Челси» в тупик: им казалось, что против них на месте центрального нападающего играет не один Бесков, а трое: то Бесков, то Карцев, то Сергей Соловьев, левый край. А инсайт Бобров вдруг оказывался на краю...

– *Центральный защитник «Арсенала» Бернард Джой, который вас не удержал, признавая превосходство русских методов тренировки и игры в футбол, процитировал Герберта Уэльса: «Мы должны приспособиться или погибнуть...»*

– Вы хотите сказать, что они приспособились...

– *Еще как! Ведь в конце концов они выиграли у себя на островах чемпионат мира 1966 года...*

Мадрид – 1:2

– А ведь все тогда могло сложиться иначе. Если бы нам не помешали, сборная Советского Союза вполне могла бы стать чемпионом мира.

– *И кто же Вам помешал?*

– Дело было так. К лету шестьдесят третьего года я, поработав и с олимпийской сборной, перед Мельбурном, где я помогал Качалину, и с московским «Торпедо», и в Футбольной школе молодежи, и с ЦСКА, находясь в расцвете лет и сил, был освобожден от работы: генералам показалось, что армейский клуб топчется на месте. Вячеслав Иванович Чернышев, возглавлявший Центральное телевидение, предложил мне стать главным редактором главной редакции спортивных программ...

Пока я руководил спортом на телевидении, наша футбольная сборная совсем сдала. Тренеры менялись, а положение не улучшалось. Весной 63-го меня пригласил к себе Юрий Дмитриевич Машин, председатель Союза спортивных обществ и организаций, и уговорил взять сборную. До отборочных игр чемпионата Европы – он назывался в то время Кубком Европы – оставалось всего три месяца. Я выразил сомнение, что за такой короткий срок смогу кардинальным образом перестроить игру и показать результат, но Машин сказал: «Мы не ставим перед вами задачу – выиграть Кубок

Европы, главная цель – чемпионат мира в Англии. До него три года, должны успеть».

– *Готовясь к нашей встрече, я поворошил свое досье и нашел выписку из журнала «Франс футбол» 1964 года, авторитетнейшего в мире футбольного издания: «Советы с помощью Константина Бескова создали интересную команду – пожалуй, самую мощную и интересную, какую им когда-либо удавалось создать». А ведь мы уже были и чемпионами Олимпийских игр в Мельбурне, в 56-м, а через четыре года взяли Кубок Европы в Париже...*

– Мне удалось создать за короткий период команду, которая хорошо зарекомендовала себя на пути к финалу с испанцами и победила целый ряд достойных европейских команд – Италию, Швецию, Данию.

– *Лев Яшин – лучший вратарь мира, Алик Шестернев, «Иван Грозный» – непродолимый центральный защитник, Валерий Воронин – элегантнейший, куда до него Алену Делону, полузащитник, – все они играли за сборную мира. Если бы к ним, мы мечтали, добавить Эдика Стрельцова, получилось бы «копье», какого не было ни у одной национальной команды...*

– Я собирался пригласить в сборную уже на заключительной стадии подготовки к Англии и Стрельцова, и Валентина Иванова – я знал их возможности еще по работе в «Торпедо» в 56-м и рекомендовал тогда же Качалину взять юного Стрельцова в олимпийскую сборную...

– С такой командой и Бобби Чарльтон с Бобби Муром были бы нам по зубам. Но мы забежали вперед...

– В Англию сборная поехала, но без Бескова. И, соответственно, без Стрельцова с Ивановым. Николай Морозов, торпедовский тренер, поставленный на сборную (он был приятелем Ряшенцева, тогдашнего руководителя Всесоюзной федерации), пригласил в атаку Банишевского, Малофеева, и даже с таким нападением, где об игровой тонкости не было и речи, с малоинтересной в тактическом отношении игрой наши футболисты сумели стать четвертыми – выше мы никогда на мировых первенствах не поднимались...

– И чем же прогневал в тот раз Бесков высокое начальство: ведь из 31 проведенного сборной матча Вы проиграли всего один...

– Но зато какой, и в чьем присутствии!...

– Вы имеете в виду появление 21 июня 1964 года в королевской ложе мадридского стадиона «Бернабеу» генералиссимуса Франко, которого показали в прямой телевизионной трансляции стране, которой долгие годы внушали, что страшнее каудильо на свете зверя нет, – разве что Гитлер и Муссолини...

– Мы проиграли финал в достойной борьбе, уступили испанцам на их поле один мяч (счет 2:1 в пользу испанцев в общем отражает ход игры). Хосе Вильялонга, тренер испанцев, назвал нашу сборную современной, мудрой, интересной, опасной для любого соперника командой. Нас тогда

многие зарубежные специалисты называли одним из наиболее вероятных претендентов на золото английского чемпионата мира. Но в Москве рассудили иначе: серебро Мадрида стоило должности и мне, и Андрею Петровичу Старостину, начальнику команды. Нас, меня обманули: никто ведь не ставил перед сборной задачу выиграть Кубок Европы, цель-то была другая – чемпионат мира. Я напомнил об этом Машину, но он уклонился от разговора на эту тему.

– *Разве в Машине было дело?..*

– Не в Машине. Финал вызвал негодование Никиты Сергеевича Хрущева. Проигрыш франкистам в присутствии самого Франко, по мнению первого секретаря ЦК, был проигрыш политический – получилось, что мы опозорили Красное знамя, уронили честь Советского государства.

– *Не повезло, Константин Иванович, вам с генералиссимусами: из-за испанского отправили в отставку с поста старшего тренера сборной СССР, из-за нашего «безумного султана» лишили звания заслуженного мастера спорта... Как это было?*

– На первых для советского спорта Олимпийских играх в Хельсинки, в 52-м, мы, то есть сборная СССР, играли с югославами. Первый матч, проигрывая 1:5, сумели свести вничью, а повторный проиграли. Олимпийскую сборную разогнали, ее базовый клуб ЦДКА – расформировали, выдающегося тренера Бориса Андреевича Аркадьева дисквалифицировали, а четверых футболистов – Валентина Нико-

лаева, Константина Крижевского, Александра Петрова и меня лишили звания заслуженного мастера спорта. Сталин был разгневан: «Как можно было проиграть ревизионистам-югославам на радость кровавой клике Тито-Ранковича!..»

– *Еще легко отделались – могли ведь и посадить.*

– Могли. Как моего тестя.

Любовь

– *А кем был Ваш тесть?*

– Николай Никандрович Васильев был инженером, специалистом по электросварке. Его арестовали в сорок четвертом.

– *За что?*

– Его знакомый сказал что-то неподобающее при осведомителе, тот «стукнул» куда надо, а в записной книжке подозреваемого в крамоле оказался среди других телефонов и номер моего будущего тестя.

– *Будущего? Значит Вы женились, когда отец уже сидел?*

– Я познакомился с Валерией Николаевной 2 ноября 45-го, перед вылетом «Динамо» в Англию, а расписались мы 17 февраля 46-го.

– *Получается, что динамовец, офицер внутренних войск...*

– ...Я начинал службу в армии в пограничных войсках в Бельцах, в Молдавии, и дослужился до полковника...

– *...женился на дочери политического заключенного. И как это отразилось на Вашей карьере, на судьбе?*

– Золотую свадьбу с Валерией Николаевной – когда мы познакомились, она танцевала в ансамбле Исаака Осиповича Дунаевского, я настоял, чтобы она из ансамбля ушла, потом она окончила ГИТИС, стала актрисой, играла в Ермолов-

ском театре, снималась в кино – мы отметили в 95-м, в год моего семидесятипятилетия. Дочка у нас родилась в 47-м, отец жены прислал ей письмо из лагеря и посоветовал назвать дочь Любой: «Это самое подходящее имя для вашей с Константином дочери – Любовь».

О Николае Никандровиче все его родственники и друзья говорили исключительно положительно, да и вообще он действительно не был ни в чем замешан. И вот я, когда вошел в их круг, решил в какой-то степени в этом деле разобраться. Однажды даже в лагерь, где он сидел – в Жигулях, на Волге – приезжал к нему. В 48-м году. Мы как раз в Куйбышеве с «Крыльями» играли. Я получил разрешение на свидание, и меня ночью на катере отвезли в лагерь. Тесть болел, находился в медицинском изоляторе. Его вызвали к начальнику лагеря. Он пришел, беззубый, завернутый в байковое одеяло, в галошах. Его спросили про семью, он сказал: жена, дочь Валерия, замужем за известным футболистом Константином Бесковым. Тогда начальник лагеря сказал: «Вот он перед вами стоит». Мы обнялись, и тесть заплакал, и медсестра, его сопровождавшая, тоже заплакала...

Мне удалось его из лагеря вытащить. Отсидел тесть в общей сложности четыре с половиной года, вернулся домой в 49-м. После смерти Сталина был полностью реабилитирован.

«Динамо» – «Спартак»

– Вряд ли Бескову, если бы он в «сороковые роковые» был не динамовцем, а спартаковцем, разрешили свидание с родственником-политзеком... Когда Вы, правоверный динамовец, вдруг очутились в стане главного и непримиримого противника московского «Динамо» – столичного «Спартака», нам, динамовским болельщикам, показалось, что небо упало на землю...

– «Спартак» по результатам сезона 76-го года выбыл из высшей лиги. Клуб популярнейший, народу за него болеет много, и во все высокие инстанции полетели тысячи писем: вернуть «Спартак» в высшую лигу, и немедленно! А как? Гришин, первый секретарь Московского горкома партии, созвал в МК совещание, пригласил руководителей профсоюзного спорта и спросил их, кто может это сделать. Андрей Петрович Старостин встал и сказал: «Вывести «Спартак» в высшую лигу может только Константин Бесков. Но Бесков – это «Динамо», к тому же он офицер». На что Гришин ответил: «Это моя забота».

И стали меня в МК вызывать. Первый раз, второй. Я – ни в какую. Они давят. Что делать? Иду к нашему министру, Щелокову: «Николай Анисимович, я же динамовец – не могу я в «Спартак» пойти. Да и хорошо знаю, каково это – в чужом клубе оказаться». А министр говорит: «Константин Ивано-

вич, ничем помочь не могу. Вот смотрите...», и протягивает мне письмо за подписью Гришина с просьбой откомандировать меня в «Спартак». «Не могу же я отказать члену Политбюро».

Пришлось мне пойти в «Спартак». Там я отработал 12 лет, вернул игру команде, вернул зрителей на трибуны...

– Через год команда первой лиги, вернувшись в высшую, стала чемпионом страны, потом еще раз... Футбол хоть и больше, чем игра, но на поле-то это прежде всего – игра, в исполнении команд Бескова игровая сущность футбола, как справедливо писал Лев Филатов, всегда выходила на первый план. И в сборных, и в клубных, прежде всего в «Динамо» и «Спартаке». Признаюсь, в те годы Вашего великого спартаковского «сидения», я сострадал Вам: каково динамовцу в «Спартаке» – ведь он там чужой, должно быть, ему дают почувствовать это на каждом шагу...

– Только один человек в «Спартаке» давал мне это почувствовать – Николай Петрович Старостин, начальник команды.

– Вот те раз! Не Вы ли настояли на его возвращении в команду «Спартак»...

– Не просто настоял – первым условием своего прихода в «Спартак» поставил возвращение его основателя и хранителя спартаковских традиций... Но Старостин не воспринимал меня. «Эти динамовцы, – говорил он, – для меня – вот так! (Бесков показывает – как, энергично проводя ребром

ладони по горлу. – А. С.).

– *Это связано с его личной судьбой, с тем, что братьев Старостиных при Сталине сослали на Крайний Север?..*

– Наверное, наверное. К тому же его еще до меня снимали в «Спартаке» два раза... У меня вообще об этом человеке совершенно другое мнение, нежели общепринятое.

– *Но в футболе-то Николай Петрович разбирался?..*

– Из всех четырех братьев Старостиных Николай по пониманию футбола был ниже всех. Да и в «Спартаке», такой у нас с ним был уговор, он абсолютно не вмешивался в чисто футбольные дела – ни в подбор игроков, ни в тренировочный процесс... А кончилась наша совместная работа тем, что Николай Петрович на меня пасквиль написал...

Таланты и завистники

– Вам практически никогда не давали довести задуманное до конца, не дали построить команду мечты в 66-м, доносили, подсиживали, снимали...

– Да разве меня одного... Возьмите Юрия Петровича Любимова, с которым мы познакомились еще во время войны, когда он с моим другом, артистом Леней Князовым, был штатным ведущим программ в ансамбле пограничников – как травили основателя великолепного театра на Таганке! А сколько мой друг, известный драматург Леонид Зорин, пережил за свою долгую жизнь в искусстве... А Аркадий Романович Галинский – великолепный журналист, резко выделявшийся на фоне всей пишущей о футболе братии...

Ему, кстати, вчера, 1-го мая, исполнилось бы 80 – уже шесть лет как Аркадий Романович умер. Великолепный мастер был, поверяющий гармонию игры алгеброй анализа. И что же? Его ведь вышвырнули из журнала «Физкультура и спорт» с дикой формулировкой: за некомпетентность... А кто вышвырнул? Завистники. Бесталанные негодяи из зависти могут оклеветать любого стоящего человека. А талантливые люди, как правило, на это очень болезненно реагируют...

– Константин Иванович, а что такое талант в футболе? Вот Пеле – король, бог этой лучшей на свете игры, счи-

тает, что понимание игры всегда ценилось в футболе превыше всего.

– Нужно сочетание определенных, доведенных до высокого уровня технических навыков, физических кондиций и тактического мастерства – впрочем, если правильно мыслишь на поле, это труда не составит. А в общем, я согласен с Пеле: интеллект, ум – самое важное, самое дорогое в игре. Все игроки, которые выделялись и тогда, и сейчас – начиная от Михаила Бутусова и Федора Селина, Петра и Николая Деметьевых, – все обладали высоким интеллектом. А те, кто мыслил на «троечку», даже на «четверку», не смогли утвердить себя в футболе.

– Вы всех видели на своем долгом веку. Кто был выше всех по пониманию, по игре?

– Пеле. Конечно, Пеле. Ни Марадону, ни кого-либо другого я с ним рядом не поставлю...

– Понятно, король...

– Я предпочитаю другое определение. Пеле – выдающийся артист футбола, который исключительно эффективно действовал перед чужими воротами – мог и организовать атаку, мог и забить гол... Когда я увидел Пеле впервые на чемпионате мира 1958 года, был потрясен: то, что делал этот семнадцатилетний мальчишка в самых разнообразных игровых ситуациях, было бесподобно. Обыкновенному игроку, даже владеющему виртуозной техникой, этого никогда и ни за что не сделать...

– *На чемпионате мира в Швеции Вы были в качестве кого?*

– Входил в просмотрную комиссию Федерации футбола СССР. И когда я поехал на матч соперников нашей сборной по подгруппе Бразилия – Австрия и увидел бразильскую команду (Пеле в той первой игре не выходил, но у них звезд хватало – Диди, Загало, Вава Гарринча, Нильтон Сантос), то, вернувшись в гостиницу, сказал своему соседу по номеру, журналисту и писателю Льву Филатову: «Вот увидите, чемпионом мира станет сборная Бразилии». Ныне покойный Лев Иванович об этом моем прогнозе написал в одной из своих книг...

– *А сейчас рискнете назвать чемпиона?*

– Боюсь, что это Германия. Знаю, знаю, что на нее мало кто ставит, что у немцев нет ни Зидана, как у французов (вот кто замечательно мыслит на поле!), ни Майкла Оуэна, но немцы и раньше, случалось, выигрывали у превосходящих их по классу, по таланту игроков сборных – у венгров в 54-м, у голландцев в 74-м – и становились чемпионами мира. За счет очень высокой игровой дисциплины, полной самоотдачи игроков и холодного рассудка.

– *А наши как выступят?*

– Наш футбол, скажем так, сейчас буксует. В Англии в сорок пятом мы сыграли очень достойно. Наш футбол шел тогда по правильному пути. Талантов у нас всегда хватало, но и тех, кто ставил талантам палки в колеса, тоже. Не везло нам на руководителей футбола, очень не везло... Вы да-

же не представляете, сколько я пережил из-за этих деятелей, негодяев по натуре: они ведь не давали мне работать всю жизнь.

Обидно. Не столько за себя, сколько за наш футбол. Он достоин лучшей доли.

Алексей Самойлов 2002 г.

Андрей Битов

Великий механизм ума



* * *

Когда Андрею Битову хотят отдать должное, говорят:

«Очень умный писатель, гениальный стилист». Когда намерены уесть, называют скучным, вгоняющим в сон.

Что ж, Битов пишет мысль и мыслью: кому-то это в кайф, кого-то – в сон, сон разума.

Рожденный Петербургом

– Я знаю – с Ваших слов – что Вы родились дважды: один раз – 27 мая, второй – 26-го. В Ленинграде в 1937-м и в Москве – в 1994-м. Вообще-то, по утверждению философов, всякий человек рождается дважды: сначала – как природное существо, потом – в духе, в сознании. Вот об этом истинном рождении хотелось бы поговорить...

– К нам, родившимся в Ленинграде, культура приходила через Петербург, она породила, например, Бродского. Мы ведь все – Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Сергей Вольф, Рид Грачев, Евгений Рейн, Сергей Довлатов воспитывались нашим городом. В Петербурге все воспитывает человека – и проспекты, и здания, и даже просто камни. И вода тоже. То есть ты просто ходишь по городу и получаешь литературное образование. Потому что в общении с петербургскими камнями ты сразу попадаешь в какой-то литературный контекст.

Что было в Питере – так это вкус. Позже его называли снобизмом, и вкус этот, может быть, рожден стенами города. Кстати, Бродский употреблял слово «снобизм» вовсе не в негативном смысле – он считал снобизм формой отчаяния. Да, отчаяния. Сколько же в Питере погибло великолепных талантов – спились, уехали, покончили с собой; кого-то посадили, кто-то умер, кто-то попал в дурдом. Несправедли-

вые, глухие и страшные судьбы.

Те же, кто уцелел, пробился, – обязаны этим и стенам города, и самим себе, сумевшим сохранить свое достоинство во взаимоотношениях с судьбой, чрезвычайно нервных для поэтов и писателей, И, конечно, говоря о том времени, объединяющем людей общей судьбой, – наше поколение очень приблизительно называли хрущевским (начал я в литобъединении Горного института у поэта Глеба Семенова в 1956-м, а через три года перешел, уже как прозаик, в литобъединение Михаила Слонимского) нельзя не упомянуть стариков, которые с нами возились.

Ну какие они были старики? Теперь я понимаю, что это были люди моего возраста сегодняшнего, даже помоложе: Лидия Яковлевна Гинзбург, Михаил Леонидович Слонимский, Вера Федоровна Панова, Наум Яковлевич Берковский.

Лидия Яковлевна и Алексей Алексеевич

— А кто из «стариков» был Вашим гуру? Ну, не гуру, но самым близким человеком?

— Лидия Яковлевна была ближайшим мне человеком. Она и умерла в один год с моей матерью в 90-м. Лидия Яковлевна относилась ко мне, скажем так, — индивидуально. У нее был свой взгляд на этот объект, то есть на меня. Она дала мне невероятно много в смысле формирования моего сознания.

Сейчас многие говорят о русском, дворянском. Им позволили говорить, а запретят — они перестанут. А я когда думаю о русском, о дворянстве, думаю о Лидии Яковлевне Гинзбург, приехавшей на Север из Одессы, историке литературы, ученом с мировым именем, писавшем прекрасную прозу. И о своем дядьке, родном мамином брате Алексее Алексеевиче Кедрове, лучшем кардиологе Ленинграда, а может, и всего Союза. И о своих родителях — отце Георгии Леонидовиче, архитекторе, и матери Ольге Алексеевне, юристе по образованию. От них, через них впервые доходили до меня понятия о чести и достоинстве.

Дядька мой был абсолютно лояльный господин. Когда в Москве умер Мясников, главный кардиолог страны, Алексея Алексеевича надумали назначить на эту должность. Ра-

зумеется, ему предложили вступить в партию. Но на это он пойти не мог. А когда институтское начальство представило его в Академию медицинских наук, в представлении – я его читал – было написано: «Высокомерен с начальством». С начальством высокомерен – грандиозно, да? Я достаточно независимый человек, но такой роскоши, как дядька – скажем, не подавать руки тем, кому не надо, – себе не позволял.

Вообще-то формула «я не подам ему руки» мне не нравится. Я никого не сужу, сужу только судящих. Мы во всем виним тоталитарную систему, Сталина, а надо оборотиться на себя, осознать, что общего было у России с советской властью. Давайте все-таки считать, что этих времен не выдержал никто – все так или иначе уступили. Не уступили только те, кто погиб или оказался в тюрьме. Тысячи людей уцелели только потому, что умели закрывать глаза на то, что делалось вокруг, – и на своем собственном опыте воспитывали своих детей так, чтобы и их сберечь, и самим не погибнуть.

...Серьезная страна

– В последний день июля 80-го Вы вернулись в Питер из олимпийской Москвы, с похорон Высоцкого; из редакции «Авроры» пошли ко мне домой, помянули его, посмотрели по телеку финал Олимпиады по прыжкам в высоту (выяснили, что в пятнадцать лет Вы брали «ножницами» сто семьдесят пять)... Долго и хорошо сидели, заедая «Столичную» морошкой. И Вы тогда сказали, уж не помню в какой связи: «У нас ужасно серьезная страна».

– Я так сказал? Ну, что ж, это, наверное, правильно. Но можно сказать лучше: «Россия – это чудо. Россия – это задание».

– Чье задание – не спрашиваю, но оно, кажется, еще не выполнено?

– Оно еще не выполнено человечеством. Тайна России сохраняется. Павел Петрович, герой моего романа-странствия «Оглашенные», говорит так: «Если тюрьма есть попытка человечества заменить пространство временем, то Россия есть попытка Господа Бога заменить время пространством».

Феномен нашей страны – великая уникальная культура при отсутствии цивилизации: то есть у нас нет ответственности за себя, за свое дело, зато есть такая российская непереносимость конца работы. Пример того, как в одном человеке можно пройти и культуру, и цивилизацию, преподал нам

Пушкин. А мы сами в себе внутри этот порог ответственности, который от культуры приводит к цивилизации, пройти не можем.

Роман о террористе

В истории ошибок нет, весь наш кровавый опыт мы не выбрасываем, но и не лелеем – мы им обладаем, и тогда получается опыт как основа цивилизации. Он включает и убийство государством чуть ли не каждого третьего своего гражданина, и попытки людей сохранить свое достоинство, и сопротивление культуры, литературы – режиму.

Когда в 71-м я закончил «Пушкинский дом», тут же начал новый роман – «Азарт». Второе название у него было «Жизнь мертвого, или Нож в спине». Он должен был идти как роман о террористе, который в конце взрывает себя. В 76-м я заключил договор с «Совписом» на этот роман и получил аванс.

В тот же день случилось страшное событие: я сбил на машине человека, но не убил его и в тюрьму не сел.

Это была невероятная проба судьбы: через три года после этого я попал в метропольскую историю (речь идет о выходе в свет бесцензурного литературного альманаха «Метрополь», что вызвало гнев властей: Битов был одним из его организаторов и участников. – А. С.), а за год до этого в Америке вышел «Пушкинский дом» (первое издание на родине увидело свет лишь в 1989 году. – А. С.). И тогда с меня стали драть этот аванс. Чтобы меня убрать как преподавателя Литинстиута, уволили всех профессоров-внештатников,

чтобы не увольнять специально Битова. Все мои рукописи из издательств и редакций журналов восемь лет кряду возвращались: не нравились – и все. Это было задание Чека: жать по легальной линии.

Многие предпочли эмиграцию безумию, я же пытался бороться здесь и делал вид, что ничего страшного не происходило. Еще чуть-чуть, и меня бы выпихнули, но, наверное, я не успел перейти какую-то грань. Я подался в провинцию, болтался по республикам Кавказа, Средней Азии, нынешним независимым государствам, стремился как можно больше узнать и увидеть. Сейчас счастлив, что те годы потратил на эти поездки по стране, а не на знакомство с другим миром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.